

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

---

**Илья Фаликов. «Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка»  
Москва. Молодая гвардия (Большая серия «ЖЗЛ»). 2017, 854 с.\***

125-летие Марины Цветаевой Вестник ЕГУ, не раз обращавшийся к ее творчеству с особой заинтересованностью, отметил новыми интересными материалами. И само собой разумеется, что прежде всего и более всего отмечалось оно в России: телепередачи, научные конференции, статьи, книги. Из книг не может не привлечь внимания наново написанная биография поэта, вышедшая в популярной серии «Жизнь замечательных людей». Внимательно прочитав ее, вижу необходимость поделиться своим впечатлением и удивлением.

Начну с аннотации. Ее зачастую пишет сам автор, а если не пишет, то, во всяком случае, одобряет. Вот что написал или одобрил Илья Фаликов (далее – ИФ)<sup>1</sup>: «Новую книгу о Марине Цветаевой <...> востребовало новое время, отличное от последних десятилетий XX века, когда триумф ее поэзии породил огромное цветаеведение. По ходу исследований, новых находок, публикаций открылись такие глубины и бездны, в которые, казалось, опасно заглядывать. Предшествующие биографы, по преимуществу женщины, испытали шок на иных жизненных поворотах своей героини. Эту книгу написал поэт. Восхищение великим даром М.Цветаевой вместе с тем не отменило трезвого авторского взгляда на все, что с ней происходило: с этим связана и особая стилистика повествования».

Зачем все это вколачивается в аннотацию? Ведь она, по лаконичности своей, не позволяет уважительно поименовать «предшествующих биографов» (по крупицам собиравших материал в те годы, когда тексты Цветаевой разыскивались в зарубежной периодике, пылящейся по спецхранам, и в частных архивах, когда и речи не было ни о каком собрании сочинений, когда архив самой Цветаевой был закрыт на десятилетия, а ее переписка только-только начинала публиковаться) и вместо небрежно брошенного «по преимуществу женщины» в открытую сказать, кто именно и от чего «испытал шок», кто не отважился заглянуть в «глубины и бездны», которые ныне покорились «особой стилистике» поэта-мужчины.

Эта часть аннотации рекламной грубостью своей перекликается с публичным высказыванием В. Маяковского, которое Цветаева не без горечи цитирует в письме к Б. Пастернаку: «Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветае-

---

\* Расширенный вариант настоящей статьи-рецензии предложен автором журнала «Вопросы литературы» (Москва).

<sup>1</sup> Надеюсь, сокращением этим никоим образом не задеваю автора, он ведь сам подсказывает такую форму: Цветаева в его книге если не просто Марина, то МЦ. Ссылки на книгу даются в тексте в скобках.

ву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, – Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина!»<sup>2</sup>. Письмо это ИФ приводит в своей книге (с. 491 – 492), не замечая, вероятно, очевидного созвучия смыслов.

Но вернемся к аннотации. К концу ее снова возникает тема «нового времени»: «Судьба Марины Цветаевой в сегодняшних условиях, не требующих поэта, убивающих поэта, может сама по себе поразить читателя». Судьба Цветаевой в выпавшем на ее долю времени так трагична и поразительна, что нет, полагаю, никакой необходимости примерять на нее – с целью потрясти воображение читателя – еще и наши дни. Но стоит разобраться, не наложили ли своего отпечатка на жизнеописание Цветаевой «убивающие поэта» нынешние «условия».

ИФ предпринял свою попытку биографии Цветаевой в очень благоприятный момент: в его распоряжении оказался богатейший материал, который постепенно вводился в оборот, начиная с 1997 года, когда увидели свет «Сводные тетради». Цветаеведение как будто только и ждало нового биографа. Во всяком случае, все для него подготовило. Остается лишь увидеть, как он распорядился своим преимуществом, как, будучи *поэтом* и *мужчиной*, «ту же тему» «обработал».

Обработка (и какая интенсивная!) начинается с первых же слов: «У нее была врожденная близорукость. Прищур был привычкой» (с. 8). Между тем общеизвестно, что в детстве Цветаева долгое время носила очки, а значит, если и шурилась, то эпизодически, потом от очков отказалась, но, по словам А. Эфрон, «мать сама себя сделала смолоду <...> заставляла себя не сутулиться, держаться прямо и не пытаться разглядывать то, что при своей близорукости увидеть не могла»<sup>3</sup>, и в последние годы жизни «ничем не выдавала своей близорукости, не шурилась, не подносила ничего близко к глазам, не наклонялась к предметам. Держалась так, словно у нее было отличное зрение»<sup>4</sup>.

Зачем понадобилась биографу эта маленькая ложь, становится понятно из следующего предложения: «По-видимому, свет в таких случаях приобретает некоторую сумеречность, как под водой, и девочки делаются русалками. Или морской пеной». И еще из одного, совсем недалеко от него отстоящего: «Возможно, так видят кошки в темноте». Такой вот полет поэтического воображения, на мой вкус, абсолютно неуместный, к тому же – совсем не безобидный. Ибо все на той же странице, заземлившись и перейдя к выводам, ИФ пишет: «Флора и фауна у Цветаевой условны, на уровне слова, а не растения или существа как такового. Она, как говорят на Русском Севере, *недовидела*» (курсив авторский, с. 8). Не знаю, что вкладывают в этот глагол на Русском Севере, но словарь Вл. Даля дает ему такое толкование: «Плохо видеть, у кого

---

<sup>2</sup> Цветаева М.И., Пастернак Б.П. Души начинают видеть. Письма 1922 – 1936 годов. М., 2004, с. 491 – 492.

<sup>3</sup> Цветаева М.И. В воспоминаниях современников. Возвращение на родину. М., 2002, с. 29.

<sup>4</sup> Белкина М.И. Скрещение судеб. М., 2005, с. 15.

зрение слабое, недалекое». Одним словом, близорукость, которая была уже оглашена ранее. Что к ней добавил нажим курсива? Добавил желание дочитать словарную статью до конца и узнать, что есть производное – *недовидок*, со значением «недальновидный человек». Вольно или невольно, но первая страница новой биографии удочерила и это значение. А на переходе к следующей появляется и конкретный пример цветаевского «недовидения»: «Ее рябина – “особенно рябина” – не дерево, а куст, а в реальной природе это не так, поскольку куст, как сказано в словарях, – “древовидное растение” и оно “малорослее дерева”» (с. 8 – 9).

Интересно, это нам, читателям, или Цветаевой растолковывает биограф, в чем разница между деревом и кустом? И почему он думает, что эта разница обеспечивает («поскольку») безупречность его утверждения – «в реальной природе это не так»? То есть что рябина – это точно не куст. Стоило бы не к толковому словарю (словарям!) обратиться, а к энциклопедии растений, где черным по белому написано: рябина – листопадное дерево или кустарник. Не говоря уже о том, что довольно странно русскому поэту этого не знать без всяких справочников.

Цветаева знала. Поэтому в стихотворении «Тоска по родине! Давно...» с полным правом сказала: *«Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, / И всё – равно, и всё – едино. / Но если по дороге – куст / Встает, особенно – рябина...»*

И в том же 1934 году уже о рябине-дереве написала: *Рябину /Рубили / Зорькою. <...> Рябина! /Судьбина /Русская.*

Вернувшись теперь к рассуждениям ИФ, увидим, что уличения в неточности продолжают: «Цветаевская рябина – символ России, а ведь ее, рябины, полно во всей Европе, во всей Азии и в Северной Америке». На сей раз упрек, правда, смягчается отсылкой к Вяземскому («Другое дело, что задолго до Цветаевой <...> князь Петр Андреевич Вяземский на швейцарском курорте <...> наткнулся на рябину, появилось стихотворение “Вевейская рябина”») и окончательно растворяется в миролюбивом – «поэты нередко редактируют природу» (с. 9).

И все же, в чем на сей раз усмотрена неточность? В том, что рябина, а не береза? А разве она в других странах не растет? Еще как растет – красуется, например, среди черных и красных дубов на Лонг-Айленде. А как быть с кленовым листом на флаге Канады? И, наконец, так ли уж необходимо было идти через «Вевейскую рябину» к цветаевскому символу России? В статье ИФ «Высокий берег» читаем: «Мандельштамом сказано: “не сравнивай: живущий несравним”, но сравнения возникают сами по себе <...> однако лучше всего сравнивать поэта с ним самим, и тогда обнаружится тайная последовательность его прихотливой мысли»<sup>5</sup>.

Золотые слова. Но по какой-то непонятной причине к Цветаевой, чья лирика склонна была годами длиться, варьировать и развивать ту или иную тему, этот под-

---

<sup>5</sup> Фаликов И.З. Высокий берег // Вопросы литературы. 2001. № 4. с. 104.

ход (и не только здесь, но на всем протяжении книги) не применяется. Иначе наверняка «само по себе» вспомнилось бы ее стихотворение 1916 года, которое – через *день* рождения – связало и *место* рождения с рябиной, сделало рябину символом родины: *Красною кистью / Рябина зажглась, / Падали листья, / Я родилась. <...> / Мне и доньне / Хочется грызть / Красной рябины / Горькую кисть*<sup>6</sup>.

А еще могло бы вспомниться стихотворение 1918 года, где о старшей дочери, тоже родившейся в сентябре, сказано: «Сивилла! – Зачем моему/Ребенку – такая судьбина?/Ведь русская доля – ему.../И век ей – Россия, рябина...»

И тогда стала бы ясна последовательность *цветаевской* мысли (отнюдь, кстати, не тайной), продленной во времени и охватившей без малого два десятилетия. А «русский виноград» Вяземского мог бы справедливо сыграть роль дополняющего штриха, а не первоисточка темы.

Неблагополучно как-то с логическими связями, со вкусовыми предпочтениями и смысловыми акцентами у нового биографа Цветаевой... И, к сожалению, не только с ними.

Вот, крайне неудачно перефразируя известные строки А. Ахматовой, он пишет: «Стихи часто растут из стихов, равно как из человеческих слабостей и дефектов автора» (с. 9). И к концу *так* начатого абзаца подытоживает и его, и полуторастраничную увертюру к первой главе, а по сути ко всей книге, возвратом к близорукости, которая сперва была переименована в «недовидение», а теперь – метонимически, с пропуском очевидного (дефект зрения) – превратилась в «дефект автора».

Удивительная – особенно для поэта – нечувствительность к слову. И отнюдь не единожды явленная. Взять хотя бы название книги. Серия «ЖЗЛ» его не требует. Можно просто – Шекспир, Пастернак, Анна Ахматова, Михаил Булгаков. Но исключения бывают. И одно из них перед нами: МАРИНА ЦВЕТАЕВА. ТВОЯ НЕЛАСКОВАЯ ЛАСТОЧКА.

Что бы это значило? Неласковая ласточка Цветаевой? Или сама Цветаева для нас неласковая ласточка? Первый случай вызывает ряд новых вопросов. Второй к вопросам не располагает, только – к недоумению, тем большему, что вскоре за названием последуют кошки и русалки. Впрочем, один вопрос все же возникает: откуда эта ласточка залетела на титульный лист книги? На него автор не сразу, но отвечает. Он нашел ее среди «стихотворных набросков» Цветаевой. Пленился «редкостной по красоте строкой» и сказал о ней: «Не важно, кому или чему это адресовано. Мужчине, миру, небу, поэзии – объект не имеет значения. Возможно, это и вообще не о себе. Смыслов – множество. Душа? Муза? Родина?» (с. 312).

---

<sup>6</sup> Справедливости ради скажем, что оно все-таки вспомнилось, но ближе к концу книги, и опять не «само по себе», а в интересах некоего композиционно-речевого приема. Дойдя в своем повествовании до 1934 года и приведя «Госку по родине...» (под ней дата – 3 мая) целиком, ИФ пишет: «Это рябина из того 1916 года, из той юности, когда они с Мандельштамом ходили то по захолустному кладбищу, то по колокольню-купольной столице» (с. 693). И, обеспечив таким образом переход к следующему абзацу, продолжает: «В ночь на 17 мая 1934 года Мандельштама арестовали...». Считая, вероятно, что этим – в пределах одного месяца – совпадением вскрыта мистическая связь двух поэтов.

Из всех предположений ИФ справедливым на поверку окажется лишь то, что «это и вообще не о себе». Но сам он этого не понял. Хотя понять было не трудно. Точнее – услышать. Ибо вскоре после своих размышлений о «неласковой ласточке», на странице 320, он говорит о встрече Цветаевой с Андреем Белым в Берлине и приводит его письмо к ней: «Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна <...> в эти последние, особенно тяжелые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: *ласковой, ласковой* удивительной нотой: доверия <...> Знаете, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей... И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до груди была пустота <...> И когда я появился вечером – опять повеяло вдруг, неожиданно, от Вас: *щебетом ласточек*, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина – есть, и что ничто не погибло...» (Курсив мой. – Т.Г.). Приводит и идет мимо, на ходу бросив – «замечательное письмо». А между тем в день получения этого письма (26 июня 1923 года) Цветаева, подхватив его волну, написала стихотворение с такой вот концовкой:

*Гляди: не Логосом  
Пришла, не Вечностью:  
Пустоголовостью  
Твоей щебечущей  
К груди...  
– Не властвовать!  
Без слов и на' слово –  
Любить... Распластаннейшей  
В мире – ласточкой!*

Может быть – случайность? Нет, конечно. А если нет, то, услышав адресованную ей «ласточку» (определенно *ласковую* ласточку) и отреагировав на нее стихом, кому и о ком могла она сказать – «твоя неласковая ласточка»? Осмелюсь предположить, что в обращении к Андрею Белому, переживающему в те дни удар разрыва, Цветаева где-то рядом со стихотворением написала, имея в виду Асю Тургеневу: «Твоя неласковая ласточка». Услышь поэт-биограф «ласточку» в письме Белого и в откликнувшемся ему стихотворении Цветаевой, он, полагаю, не вынес бы на титульный лист такое несуразное для биографической книги название. Впрочем, очевидно, что писал ИФ ее как очень условно биографическую. Выработывал не только стилистику особую, но и жанр, о некоторых принципах которого, вызывая все то же недоумение, поведал читателю.

Например, так: «В моем тексте немало незакавыченных цитат, как это делается в поэзии, к каковой, смею надеяться, прикосновенна эта книга» (с. 140). Или так: «Возникает вопрос: не превращаем ли мы наше повествование в комментарий к эпистолярному? Ответ есть. Во-первых, зачастую нет никаких свидетельств – кроме писем. Во-вторых, чаще всего письмо и есть лучшее свидетельство. Но еще верней – все-таки стихи» (с. 174). Или что еще замечательнее: «Моя книга – о том, что происходило в сознании МЦ или могло его коснуться» (794).

Понятно, что к выбору тех, а не других писем, равно как и к пропускам при

их цитации, «прикосновенна» рука автора, а значит, и здесь мы имеем дело со своего рода комментарием. Неявным комментарием, который легко может ввести в заблуждение – не всякий же читатель знает, о чем и как написано в *нецитированных* письмах и что скрыл знак пропуска в процитированных. А уж какой простор для трудноуследимого авторского присутствия дают незакавыченные, лишенные точности и авторства цитаты, даже говорить не стоит.

Очень скоро становится понятным и то, что поэту-биографу абсолютно чуждо сочувствие к Цветаевой. Нет его ни тогда, когда, предвзято выписку из письма (1928 г.) к Пастернаку («С 1925 г. ни одной строки стихов, Борис, я иссякаю: не как поэт, а как человек, любви источник...»), он говорит: «Она испытывает постоянную потребность в жалобе» (с. 556). Ни тогда, когда речь заходит о жизненных обстоятельствах зимы 1937 – 1938 года: «В общем кухня. Стол, печка, готовка, стирка, мытье полов – репертуар тот же. На кухне – морозно» (с. 768). И уж совсем бездушно, как о нерадивой домохозяйке, сказано на последних страницах книги (Москва, весна 1941 года): «Готовила она, прямо сказать, плохо <...> Ее суп в равной мере удивил таких разных людей, как Нина Гордон и Дмитрий Журавлев, который потом сказал Елизавете Яковлевне (сестре С. Эфрона. – *Т.Г.*): “Пожалуй, ничего более невкусного я в своей жизни не ел”» (с. 821).

Слова Журавлева – редкий случай! – закавыченная цитата. Откуда она взята? Кто в таком невыгодном свете (заглянул в гости, невкусно пообедал и пошел сплетничать о плохой стряпне великого поэта) выставил культурного человека, народного артиста СССР? Оказывается, сам он и рассказал этот эпизод в воспоминаниях о Цветаевой, которые назвал «Впечатление было ошеломительное...». Неужели от того супа? Да нет, от «уникальной индивидуальности», «яркости», «неповторимости и значительности» ее образа. А вырванные из контекста слова о супе имеют у Журавлева такое продолжение: «И мы долго и грустно говорили о превратностях судьбы Цветаевой, о ее бесконечной борьбе с бытом, с “обеденным столом”, который, как она сама говорила и писала, всегда отрывал ее от “письменного”...»<sup>7</sup>. То есть о том, к чему наш биограф равнодушен. Поэтому и цитировать не стоит. Достаточно подтвердить документальным, вольно или невольно искаженным, свидетельством: готовила плохо.

Между прочим, если уж такой необходимой показалась эта тема, можно было бы не без юмора вспомнить цветаевскую запись: «Обед не стоит, чтоб его готовили. (Лучше – сырой!)»<sup>8</sup>. Или – вполне уже серьезно – такую: «Не могу сказать, что не хочу готовить обеда, могу только сказать, что пока готовлю обед страстно хочу писать стихи. Только потому обед и сварен»<sup>9</sup>. Но «особая стилистика», видимо, не позволила. Потому, надо думать, не позволила, что не жаль поэту-биографу Марину Цветаеву ни на одном из жизненных ее поворотов, и ничего с этим не поделаешь. И не нужно. Пусть не жалеет. Лишь бы уважитель-

<sup>7</sup> Цветаева М.И. В воспоминаниях современников. Возвращение на родину, с. 24.

<sup>8</sup> Цветаева М.И. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997, с. 150.

<sup>9</sup> Там же, с. 151.

ный тон сохранял, да еще объективность и верность разнохарактерным текстам. И не доводил «особую стилистику» до откровенно дурного слога. Что происходит, к сожалению, совсем нередко.

У ИФ то сын Цветаевой «*произрастает*», то дочь, то герой поэмы, а сама она «представляет Тесковой» «свой отчет о *проистекающих* событиях» (ни из чего, впрочем, не проистекающих, просто – текущих), а еще «*обзаводится*» то «приятельницей», то – чуть далее по тексту – «сковородками и кастрюльками», не отстает от нее и муж – «*готовится к прыжку, бессмысленному по результату*». Примеров много, не все же выписывать. Но о репликах автора, сопровождающих цитацию стихов, сказать все же стоит. «Смоленский рынок» Ходасевича – «Очень московские стихи» (с. 322), о «Гренаде» М. Светлова, восхитившей Цветаеву, – «А ведь и впрямь хорошо» (с. 502), «Она (Цветаева. – Т.Г.) пишет стихи, более чем хорошие» (с. 643), под восьмистишием Цветаевой – лапидарное «Отнюдь.» (с. 151), хотя еще Бунин учил, что «так по-русски не говорят». И т.д.

Не лучше обстоит и с комментариями к текстам самой Цветаевой.

О первых стихах берлинского периода: «Многие стихи Вишняку густо зашифрованы» (с. 307). Что бы это значило? Что биографу они непонятны или что Цветаева овладела вдруг шифровальной техникой? А может, дело в том, что он попросту пропустил большой корпус стихов «последней Москвы», и потому лишенная их фона и контекста берлинская лирика закрылась его пониманию? Дальше – больше: «Стихов ей недостаточно, начинается эпистолярный поток. Писем было девять <...> Подлинник писем – сплошной монолог, произносимый ровно десять дней. Это единый текст, последовательно составленный нами наугад из разных абзацев разных писем» (с. 309). Следом идет нарезка из цветаевских писем. Совсем *не* наугад составленная. Напротив, сознательно сглаженная. Превращенная в *один из* образчиков любовного эпистолярного Цветаевой. А в оригинале письма к Вишняку – совершенно особенные.

Другой пример – цикл «Сивилла». Цитируется первое стихотворение. Далее читаем: «Лесника-людоеда и ручных ланей нет, но образ бессмертной пророчицы, по воле МЦ – вопреки стационарному мифу – вышедшей из живых, еще пару дней мерещится, воплощаясь в стихах: образуется цикл из трех вещей. Было с чем сравнивать» (с. 328). Следом идет перечисление стихов Бальмонта, Брюсова, Вяч. Иванова, Волошина. Сравнить, впрочем, бесполезно – ряд выстроен по внешнему признаку: везде, так или иначе, Сивилла. Но у Цветаевой она совсем другая. Что сказано о цветаевской? Ошибочно сказано, что за пару дней написано три вещи (третья «померещилась» только весной следующего года!), и так же ошибочно понята последняя строка первого стихотворения, ибо не умерла цветаевская Сивилла, а просто ушла из круга *молодых*, отрешившись от любви, стала лишь голосом. Тем самым голосом, который обратится к «младенцу» в третьем стихотворении.

Далее речь пойдет о цикле «Дерева» – самом заветном в книге «После России». «Цикл с посвящением: “Моему чешскому другу Анне Антоновне

Тесковой”. По числам видно, что посвящение созрело позже, а не к началу работы над циклом <...> Наверное, Анне Тесковой уместней было бы посвящать “Заводские” – стихи, напрямую социальные. Этими вопросами занималась “Еднота” (“Чешско-русская Еднота” – общество, созданное с культурно-благотворительной целью, его долгие годы возглавляла Тескова. – Т.Г.), в этих вопросах увязла мировая беднота, посреди которой суждено пребывать русской эмиграции» (с. 330, 332).

Какой свысока взгляд на преданнейшего друга Цветаевой! И одновременно укор ей за то, что не по социальному ведомству проходит у нее Тескова. Интеллигентному человеку, не говоря уж о русском поэте, такая позиция непростительна. Хотя, к великому сожалению, в определенном кругу она типовая: что-то из разряда – братья наши меньшие. Впрочем, причина стараний ИФ отодвинуть «Деревья» от Тесковой вскоре выясняется: ему померещилось, что они «тайно» посвящены Пастернаку. А как же иначе: ведь недавно написана статья «Световой ливень», а теперь в стихе: «Свет – царство его». А вот как небрежно, в одно касание искажается образ самой Цветаевой: «Она листает периодику, в парижском “Звене” следит за рубрикой Георгия Адамовича “Литературные заметки”» (с. 423). Эти «листвует» и «следит» легко могло бы опровергнуть письмо к О.Е. Колбасиной-Черновой, если бы ИФ процитировал его добросовестно. В опущенной части сказано: «Рецензию в “Звене” прочла. Писавшего – некоего Адамовича – знаю»<sup>10</sup>. Из чего нетрудно заключить: об этой рецензии Цветаева узнала от своей корреспондентки. Но все это бледнеет в сравнении с шедевром поэтической чуткости биографа, поджидающим нас на с.437. Приводится стихотворение, написанное спустя два месяца после «Попытки ревности» и за считанные дни до рождения сына. Цветаева в числе немногих других не включила его в «После России». Имела, видимо, причины:

<i>Дней сползающие слизи,</i>	<i>И до бед мне мало дела</i>
<i>... Строк поденная швея...</i>	<i>Собственных... – Еда? Спать?</i>
<i>Что до собственной мне жизни?</i>	<i>Что до смертного мне тела?</i>
<i>Не моя, раз не твоя.</i>	<i>Не мое, раз не твое.</i>

Комментируется так: «Тело ее вот-вот разрешится бременем и не ведает своей принадлежности». Чем попадать в столь глупое положение, посоветовался бы с умной, понимающей женщиной.

*Июль 1925 года.* Сергей Эфрон поправляет здоровье в санатории. Пишет большое письмо сестре Лиле. Рассказывает о мальчике, какой он спокойный, улыбочивый, голубоглазый – всеобщий любимец. О дочери: у нее золотое сердце, жаль, что на нее так рано легла тяжесть быта. Жалуется, что нет у него отдельной комнаты, и это мешает успешной работе. Говорит и о том, что в Европе театр заменен зрелищем. ИФ цитирует письмо щедро – почти полторы

---

<sup>10</sup> Цветаева М.И. Собр. соч. в 7 томах. М., 1994 - 1995. Т. 6, с. 683.

страницы пегитом (446-447). Но четыре пропуска все же делает. Вот два из них: 1) «Марина дрожит над ним (ребенком. – Т.Г.), ни на минуту от него не отходит» (с. 317). 2) «Марина очень занята мальчиком, варкой ему и нам пицци, тысячами забот, которые разбивают и мельчат время и не дают ей длительного досуга для ее работы. Но она все же ухитряется между примусом и ванной, картофелем и пеленками найти минуты для своей тетради»<sup>11</sup>.

Филигранная, согласимся, техника работы с материалом: дурного ничего не сказал, а пробел в «едином тексте жизни» поэта все-таки сделал. И заодно избежал необходимости сказать, что в эти выхваченные «между примусом и ванной» минуты Цветаева пишет поэму «Крысолов».

*Май 1926 года.* В связи с письмом к Пастернаку ИФ прозорливо замечает: «Видимо, именно в ту весну 1926-го она нашла это слово – *отказ*» (с. 483). Между тем еще в Москве 1921 года, в дни общения с кн. С.М. Волконским, родилась излюбленная формула Цветаевой – «Победа путем отказа»<sup>12</sup>.

*Начало 1927 года.* Биограф пишет: «А тут вышел в свет многострадальный, трудно и долго писанный «Тезей» <...> Пять картин и много народа <...> Трагедия кончается возгласом Тезея: “Узнаю тебя, Афродита!”» (с.516,519). А потом зачем-то пересказывает трагедию на трех страницах. При этом центральной для Цветаевой картине «Наксос» уделяет всего пять строк: «Скала со спящей Ариадной. Тезей произносит долгий монолог, в который вмешивается Вакх – Голос с неба, так и остающийся голосом, который заявляет права на Ариадну <...> Тезей, попрепившись, соглашается» (с. 518).

В отличие от ИФ не могу не посочувствовать Марине Цветаевой. Как она билась над этой сценой, как искала довод Вакха, который заставил бы Тезея *добровольно* отступить от Ариадны, как важно ей было, что сделал он это не из страха перед божеством; сколько своей боли от вынужденного разрыва с Родзевичем вложила она в вопрос Тезея: «Так зачем же, двужалый, / *Ночь* была нам вдвоем?». Как на свой лад переосмысляла миф, чтобы вопрос этот в него вписался. И все это лишь для того, чтоб спустя девяносто лет поэт-биограф чуть ли не с усмешкой обронил – «попрепившись»?

А теперь вспомним о новых материалах, которыми, в отличие от предшественников, располагал ИФ. Среди них том *переписки* двух великих поэтов, воспроизводящий их многолетний *диалог*. Пишут они друг другу, в том числе, и о творчестве. Почему письма Пастернака цитируются так скупно, с такой странноватой избирательностью? Февральское письмо 1923 года, где он говорит о ее «Царь-Девнице», пропущено. В связи с ним сказано только: «Он предложил ей встретиться весной 1925 года в Веймаре» (с. 356). И сказано неверно – Веймар впервые прозвучал спустя месяц, в начале марта. Из письма от 25 марта 1926 года, написанного по прочтении «Поэмы Конца» и заканчивающегося словами: «Я боготворю тебя», приведены три строчки (с. 472). Из письма о «Крысолове»,

<sup>11</sup> Цветаева М.И. Неизданное. Семья: история в письмах. М., 1999, с. 317, 318

<sup>12</sup> Цветаева М.И. Неизданное. Сводные тетради, с. 12.

написанного «уже без беспримесного восторга», процитирован солидный кусок (с. 489 – 490). А в целом голоса Пастернака, его взгляда на Цветаеву в книге до скудости мало. И это в книге, где бесконечными простынями приводятся отклики именитых и совсем безвестных современников – зачастую откровенно скучные.

Где без всякой надобности нашлось место такому откровению о Бальмонте: «Он во Франции, у него только что кончился долгий роман с Дагмар Шаховской, от которой у него двое детей. Сбежал на берег Атлантики, где подолгу живет, меняя поселки, лишь изредка наезжая в Париж. В 1924 году он поселится в местечке Шателейон в Бретани. Но теперь его гонит в Париж страсть к Шошане Авивит, патетической исполнительнице Библии на иврите» (с. 328).

Где нашлось место и письмам Маяковского Лиле Брик (!). Например, такому: «Дорогой, родной, любимый, милый Личик. Шлю тебе и Осипу посильный привет. Тоскую. Завтра еду в Ниццу на сколько хватит (далее поясняется: «Проблемы у него те же – денежные, да масштабы покруче». – Т.Г.). А хватит, очевидно, только на самую капельку. В течение апреля – к концу – буду в Москве. И в Ниццу, и в Москву еду, конечно, в располагающей и приятной самостоятельности. Люблю и целую родную Киску. Счен» (588).

С Маяковским, впрочем, случай особый. О нем в статье «Высокий берег» ИФ сказал: «Океанической, перевозданной была поэзия Маяковского, и не наше лилипутское дело производить калькуляцию его заблуждений, просчетов и промахов»<sup>13</sup>.

Золотые слова. Жаль только, что их пафос обходит стороной Цветаеву. Видимо, перевозданностью не вышла ее поэзия, да и до океаничности не дотянула – всего лишь морская. Так что можно не церемониться. Можно смело писать «Неласковую ласточку», под завязку набитую той самой калькуляцией, которая неуместна со стороны «лилипутов» в случае Маяковского.

И начала-то она переписку с Рильке крохотной ложью: сказала, что привезла с собой его книги из России (с. 478), а на самом деле купила их в Берлине; и пристаёт-то она ко всем со своими просьбами, но говорит, что никого ни о чем не просит; и «в процессе сочинения» «многостраничного, многодневного» «послания Пастернаку» «дарит собой и другого адресата» (с. 359) – Романа Гуля, и хотя «они едва знакомы», пишет ему «длиннющее» письмо, где, в частности, говорит: «Все это, Гуль, МЕЖДУ НАМИ» (с. 360); и с Тесковой – «начальницей Едноты» – «МЦ продолжает укреплять связь» (с. 453) в целях, разумеется, меркантильных (коляску для сына попросила и платье для своего вечера); и в «Сводных тетрадах» пометки к старым записям и стихам делает никудышные (см. с. 654); и слова мужа о ней «одарена она, как дьявол», не иначе как «оговорка по Фрейдю», ибо «руку нечистого он испытал сполна», и потому «цветаевский дар он проводит по епархии дьявола» (с. 725); и про М.С. Цетлину, с которой уважительно переписывалась, другого адресата «не без едкости» спрашивает, «похудела ли Цетлиниха» (с. 363); и слишком-то часто и любовно пишет она Родзевичу («Октябрь уж наступил, оное пламя

---

<sup>13</sup> Фаликов И.З. Указ. соч., с. 98.

разгорается, ласковых слов в русском языке много»; с. 399), и пр. и пр. и пр.

Словом, «промахов и просчетов» куча, калькулируй – не перекалькулируешь. А может, на вкус биографа, это те самые «глубины и бездны», в которые только он и отважился заглянуть?

Есть, впрочем, область, где Цветаева в его глазах безупречна, о чем на с. 623: «Это редчайшая редкость – от начала до конца ее знаний о нем Маяковский избежал перемен ее настроений. Это было незыблемое “Здорово в веках, Владимир!”» На кого «работает» это категоричное утверждение? На Цветаеву? – дескать, не важно что и как «недовидела» в жизни и природе, но в истинном величии знала все же толк. Или на Маяковского? – раз такой поэт, как Цветаева, не усомнился в его величии и неподсудности, то «лилипутам» сам Бог велел помалкивать.

Поскольку ИФ говорит не совсем правду, можно предположить, что хлопочет он все же о Маяковском. Здесь не место вдаваться в подробности, но в двух словах правда такова: уже в 1927 году Цветаева писала Пастернаку: «О Маяковском – *прав*. Взгляд бычий и угнетенный <...> Маяковский один сплошной грех перед Богом, вина такая огромная, что надо молчать. Огромность вины. Падший Ангел. Архангел»<sup>14</sup>. Потрясенная смертью Маяковского, написала ему вослед свой реквием. Долго пыталась вывести «формулу» его самоубийства, но добиться искомой точности так и не смогла. Была убеждена, что поэту с победившей революцией не по пути, тем не менее в статье «Поэт и время» (1932) сделала для Маяковского исключение: «Все старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа <...> Об этой революционности говорю. Другой для поэта *нет*. Или уж (кроме единственного чуда Маяковского) *поэта нет*»<sup>15</sup>. Приступая к статье «Эпос и лирика современной России», не собиралась разоблачать Маяковского, напротив – настаивала на чуде. Но, впервые, кажется, «обзаведясь» его книгами (брали для нее в библиотеке) и поместив его в одну рамку с Пастернаком, сравнивала их, по справедливому замечанию Ю. Карабчиевского, как поэзию с не-поэзией. Неслучайно за спиной Маяковского замаячил Рим риторства, а сама его фигура стала накладываться на написанный ранее портрет Брюсова. Выявлять то, к чему пришла, не стала. В более поздних статьях просто перестала говорить о нем. Но в 1941-ом сделала запись в тетради, в которой недвусмысленно вынесла Маяковского за пределы высокой поэзии<sup>16</sup>.

В своей книге, а она, как мы помним, претендует на раскрытие того, «что происходило в сознании Цветаевой» (до чего же неловкая фраза! – Т.Г.), ИФ опускает всю ее эссеистику (да и портреты поэтов-современников оставляет без внимания). Если в связи с этим вспомнить одну из его формулировок, то получится так: «жизнь поэта – единый текст», в котором прозе поэта не место<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Цветаева М.И. Пастернак Б.П. Указ. изд., с. 329 – 330.

<sup>15</sup> Цветаева М.И. Собр. соч. в 7 томах. Т. 5, с. 338.

<sup>16</sup> См.: Цветаева М.И. Собр. соч. В 7 томах. Т. 4, с. 614 – 616.

<sup>17</sup> Хотя о ней ИФ все же вспоминает: «Чем сильна проза МЦ? Помимо прочего – подробностями, данными в динамике» (с. 753). Имея, правда, в виду эпистолярную прозу,

Более чем забавно. Но ведь не настолько же, чтоб означать, что статьи Цветаевой биографу незнакомы вовсе. Что переписку с Пастернаком он не прочел и последние, предсмертные, по сути, записи Цветаевой тоже. А если знакомы письма, статьи и записи, то взгляд Цветаевой на Маяковского сознательно подретуширован – сведен к публичным высказываниям, в которых Цветаева не желала, особенно – после смерти Маяковского, в открытую разоблачать страшно, по ее убеждению, согрешившего перед своим даром собрата по перу.

Подводя итог нашим заметкам, скажем: не случилось новое жизнеописание Цветаевой. Вместо биографии под обложкой объемистого тома оказалась свалка цитат, тенденциозно к тому же подобранных и недобросовестно зачастую преподнесенных. Завышенные претензии автора, включая сюда и за пределами жанра и вкуса лежащую претензию на «прикосновенность к поэзии», оказались пустой саморекламой. Во всяком случае, к поэзии Цветаевой книга имеет весьма отдаленное отношение. К жизни – тоже. Если, конечно, жизнь поэта не сводить к хронике бытовых обстоятельств, смене адресов, отголоскам его творчества в периодике. Не помогло и обилие вновь открытого материала. Может, даже наоборот: интимнейшие письма к Родзевичу биографа раздражают, в «Сводных тетрадах» он запутывается, к творческому осмыслению мифа о Тезее остается глух, том переписки с Пастернаком не слишком ему и пригодился, письма к Н. Гайдукевич не понадобились вовсе, берлинский роман с А. Вишняком, письма к которому он «*наугад*» нарезал, наводит его на мысль о неостановимости Цветаевой «ни в стихах, ни в женских шагах» (с. 306), с которыми его если что и примиряет, так это строка «Час мировых сиротств», ибо она «проясняет и оправдывает смысл этих стихов и этих отношений» (с. 307).

Не совсем понимаю значение словосочетания «оправдывать смысл стихов» (равно как и «смысл отношений»), но о самих стихах думаю, что ни они, ни «отношения» Поэта в оправданиях не нуждаются. Независимо от того, мужчина поэт или женщина. Судя по «Неласковой ласточке», Илья Фаликов думает иначе. Он вообще далек от корректности в гендерном вопросе. Но это тема другого разговора. В этом же мне остается только подивиться неразборчивости издательства, посожалеть о читателе популярной серии «ЖЗЛ», которому может показаться, что теперь он накоротке знаком с личностью и судьбой Марины Цветаевой, и с благодарностью вспомнить «предшествующих биографов», несуетно и неспешно писавших свои книги.

**ТАТЬЯНА ГЕВОРКЯН**

---

в частности – письмо к Анне Тесковой от 2 мая 1937 года.